

Разные люди отвечали одинаково.

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

Забвенье неподкупно.

ТОМАС БРАУН.

Погребение в урнах, или Рассуждение о погребальных
урнах, недавно найденных в Норфолке

Глава первая

Раскопать могилу оказалось проще, чем я думал. Минут двадцать на все — бóльшую часть из которых заняли отвлекающие маневры, рассчитанные на не пойми кого. Прежде чем приступить к делу, я устроил повахтанговски щедрое представление: орошал дешевое надгробие водой, с корнем рвал отсутствующую траву, точечно разбрасывал бархатные цветы и озирался с видом маломощного и слегка ослабевшего умом родственника из тех, что и сами уже одной ногой стоят во взрыхленной почве.

У нас в роду такие тоже были.

Ограду с могилы, как и было объявлено, сняли, что делало меня несколько более уязвимым для посторонних глаз, хотя по здравом размышлении мне следовало избегать не людей, а видеокамер. Но на своем участке я не обнаружил ни одной, впрочем, я имел довольно шаткое представление о том, где они вообще могли располагаться. По крайней мере на деревьях они не висели.

Со стороны моя активность, очевидно, показалась бы несколько нетипичной, однако же такой стороне совершенно неоткуда было взяться — тем гаснувшим майским днем некрофланеры мало интересовались этой частью Ваганьковского кладбища. Здесь мало кого зарывали из титанов сцены или пера, все мало-мальски информативные мертвецы покоились на других земных пядях. Так что я, повертевшись немного, взялся за работу.

Земля подавалась неохотно, но как-то выпукло и сладко — так в детстве, рискуя погнуть, вспахивали столовой ложкой мерзлоту вчерашнего пломбира. Лопатка моя, как я только что заметил, носила имя «Туристической». Я успел зачерпнуть с дюжину таких пломбирных пластов и даже вошел во вкус, как на соседнее захоронение пришла посетительница — нестарая еще печальная женщина, раньше таких называли интеллигентными, что служило подковерным синонимом не вполне счастливых; сегодня я бы назвал ее согласившейся. Она достала бутылку какого-то раствора и стала бережно, как младенца, протирать надгробный камень. Под ним лежал, видимо, муж, сам камень был сравнительно свеж, не в пример моему, и ей было больнее, чем мне, — мое сердце-демпель стучало в этом отношении куда ровнее.

Скорбящая производила свои очистительные ритуалы слишком близко, так что мне пришлось временно свернуть раскопки и отправиться нарезать круги по соседним участкам.

Траурные грядки так густо избороздили почву, что на ней в буквальном смысле не осталось живого места. Смерть жила и множилась, лезла из земли бесчисленными плодами и побегами, не зря в той сказке кочаны капусты превращались в отрубленные головы — такова, стало быть, агрикультура гибельного.

Я вглядывался в дешевые (это был, в общем-то, спальный район кладбища, никак не Золотая миля) памятники с тем же чувством статистического любопытства, с каким разглядываешь, в сущности, точно таких же, только живых людей в общественном транспорте, особенно когда те поутру мучительно прикрывают глаза, погружаясь в короткие грохочущие грезы. Мертвецы умели порадовать своей состоятельностью, живые в сравнении казались теми, с кем еще не произошло ничего по-настоящему знаменательного. Они нам интересны, мы им нет.

Опустевшие имена и просроченные даты шли безответным рыбьим косяком, лишь изредка поражая воображение блеском чешуи или причудливой формой плавника. Мелькнула полусмешная фамилия Спиженковы — так бросается в глаза криптоматерный номер на автомобиле.

Эти Спиженковы умерли почти одновременно, с разницей в пару месяцев, нестарыми, почему, интересно, так вышло?

Некоторые могилы украшались, для леденящей достоверности, фотографиями. На них мертвецы были запечатлены со всеми своими привычками, как

фараоны, в частности, некто Кирилл Филимонович 1880 года рождения снялся с трубкой в зубах.

Богатые надгробия-импланты выглядели, напротив, забавно — будто некий небесный эколог учредил раздельный сбор человеческого мусора, но с некоторыми послаблениями. Этот погребальный силикон в любом случае ничего не решал — решали даты, маленькие, почти одинаковые и с претензией на уникальность, как пин-код выпотрошенной карточки: кто на что учился, каждому свое; и какая философия общего дела может быть в этой плоской мозаике?

Только бессвязность и отдельность, где множество случайных соответствий никак не отменяет полного отсутствия солидарности: глядя сверху, можно быть только родственником или в крайнем случае однофамильцем. Иной и редкий вариант предлагали покоившиеся неподалеку сиамские сестры Крипошляповы — одна пила, а другая страдала, но умерли в итоге вместе.

В этой части кладбища почему-то было особенно много детей — и чем быстрее они умирали, тем более глубокой древности, казалось, принадлежали их антитела. Как будто выставлялись хроники чумы, когда детей никто не считал, и от уменьшительных-ласкательных имен на могилах веяло вековым мороком. Их положение во времени казалось особенно пронзительным — дети не успели толком ничего сообразить, однако же все застали всё — и тогда присутствовали бесправными очевидцами, а теперь простирались немymi, слепыми укурами, востроносики в гробах. Мне

рисовались их бестелесные детские головы с крыльями вместо ушей, словно у ангелов на иных флорентийских фресках, но снабженные примирительными русскими стансами — моя завидна скоротечность, не знала жизни я и знаю вечность. Что случилось в 77 году с малолетним Сашенькой Сорокиным? Леночка Дунайкина прожила ровно два года — с 1932-го по 1934-й, по чьей милости? Какая муха укусила в 38 году Колю Куприянова? Давно не существующий Женичка Стефанович (1950–1957) тоже был обеспечен фотографией — обиженное лицо в шапке, уголки рта сползли глубоко вниз, он вот-вот расплчется — за что вы так со мной, в том оттепельном пятьдесят седьмом? Всем оттепель, а мне на Богову делянку. Все же даты и дети — две вещи несовместные. Второй вопрос — куда деваются прозвища людей?

Когда я вернулся на позицию, интеллигентная женщина скрылась, а небо над головой начинало картинно темнеть и пучиться. Дождь в планы не входил, я кинулся рыть зло и уже без оглядки, будто вскапывал ненавистный барский огород. Могила, в сущности, была братской, точнее сестринской. По моим расчетам, в ней лежали по меньшей мере три урны — все женщины, и все поверх основного гроба. Того же, кто обосновался в самом гробу, я не помнил и не знал — некто Иванов, и даты прибытия-отбытия у него были крепкие, прошлыевековые. Не имел я понятия также и о том, в какой именно части могилы были прикопаны нужные мне прахи. У предположительного изголовья были воткнуты поясняющие мраморные таблички, и я вновь

обнаружил, что на одной из них, необходимой именно мне, и немедленно, стояла неправильная дата смерти — выгравирован был 93 год, хотя на самом деле все случилось двумя годами позже, не знаю, кто и зачем поторопил события.

Я стал ворочать лопаткой прямо под ложным указателем, и мгновенная находка компенсировала ошибку — стук, упор, клад. Первая урна неожиданно оказалась в пакете. Это была прямоугольная подарочного толка коробка вроде как из-под «Бушмилс». По счастью, мне не пришлось вытаскивать ее из промозглого полиэтилена — анкетные данные праха пропечатались сверху на крышке, дорогое имя, но сегодня мне нужно было не оно. Я уложил коробку обратно в яму и начал рыть чуть правее, уже руками. В кладбищенской земле, как оказалось, обретается неизмеримое количество мелких камней и каких-то странных обломков, в природу и происхождение которых я предпочел не углубляться — мне и так казалось, что я перебираю чужие внутренности, по локоть увязнув в ископаемом организме.

Наконец я нащупал и выкорчевал вторую урну. Фамилия оказалась слегка объедена почвенной эрозией, но тут уж ошибки быть не может. Вот ты где. Я столько раз прокручивал в голове эту встречу, но все, как обычно, состоялось иначе, в других цветах и прикосновениях. Во-первых, урна была не урна, а почти что амфора — черная фигуристая керамическая посуда с вязкими росписями, как на древнегреческих вазах. Во-вторых — она была не запечатана. В краткий миг

неразумия я сдвинул круглую крышку и заглянул внутрь. Наш зрительный контакт длился ничтожные доли секунды, но пожалел я о нем еще быстрее. Когда самолет заходит на посадку, его иногда заносит в зону беспросветной напряженной серости, в кисельный тупик каленой пустоты, которая, кажется, не кончится никогда. Очень похожая тугоплавкая мгла промелькнула передо мной — каким-то свежепойманным сероводородом по глазам. Я никогда раньше не видел, что остается от человека, когда он сгорел. А конкретно этих останков не видел никто — вот уже тринадцать лет и еще не увидел бы три тысячи, если б я не встрял, не распахал этот подзол. В моей руке очутился факел обратимости, и я зажег его, открыв свою личную олимпиаду — для тех, кто смертельно соскучился по вниманию, которое поважнее любви. Любые сколь угодно напряженные воспоминания нужны только тебе, а тем, кто по ту сторону тела и души, — им, скорее всего, важен взгляд.

Я поскорее закидал яму землей, кое-как разровнял и забросал гвоздиками, предварительно разорвав их пополам для профилактики кладбищенского воровства. Цветов я купил через край — все, что было у торговли в ведре, пришлось делить их на несколько пучков, иначе не поддавались, и всякий раз, когда я уже почти переломил всю фасцию, ветка-одиночка вдруг становилась упрямой, как провод, отслаивала упругую стружку-застежку, которая доезжала почти до самого цветоложа, и только там, в преддверии мертвенно-красной бархотки, наконец болезненно надрывалась,

так что к моменту, когда я укоротил их все, я почти кожей чувствовал острую боль растения. Я завернул урну в припасенный зеленоватый пакет из «Азбуки вкуса» и аккуратно поставил в сумку, словно утешительный кубок, доставшийся без оваций и промедлений. Моя древняя черная торба Ann Demeulemeester по дизайнерской прихоти была в принципе лишена каких-либо молний и застежек, вероятно, сказывались кальвинистские корни изобретательницы. В обычное время меня это раздражало, но сегодня сумка-распашонка пришлась кстати — я шел, запустив руку внутрь и придерживая крышку амфоры. Скорость росла с каждым шагом-прыжком — мимо колумбария, напоминающего причудливую барную стойку, мимо вчерашних захоронений, отдающих паркетной свежестью, мимо недорогих надгробий, похожих на обложки итальянских прог-роковых групп (одно мелькнуло даже с тюленем, как теперь забыть), мимо паперти, мимо спеленутого Высоцкого, который пламенно каменел на входе как главный местный святой и страж своей веселой покойницей. Народ повалил навстречу с невозмутимой приподнятостью, а я будто выкарабкивался из лежачей гимнографии паспортных данных в иную оперативную грамматику, где бывают и будут еще сказуемые и запятые, много запятых, и союзы, хоть соединительные, хоть противительные, хоть разделительные, все эти ничтожные распорки и мостки дышали грядущей жизнью.

Мне захотелось поднять загробный кубок над головой, как новорожденного, невозбранно показать праху

все формы жизни, которых он был лишен за годы кро­мешного отсутствия. Выходя из восковых ворот клад­бища, я испытал последнюю короткую тревогу — дол­жна же быть граница между миром мертвых и живых, и, может быть, в урну вживлен, точнее вмертвлен, осо­бый чип, который заверещит на выходе.

Не всем городам к лицу гроза, но Москве она всегда в масть, особенно на ранних подступах. В предненаст­ном мареве у города сделался шальной помутившийся вид, за который легко было полюбить и его, а заодно себя в нем. Тяжелые подвижные тучи приобрели стать и форму слонов, нацелившихся затоптать собственных погонщиков.

Перед началом стихии весь день распался на те са­мые обстоятельства места и времени, которым учили, да не выучили, выставив, как на ленте кассира, много­образие жизни во всей поштучности и несопоставимо­сти: лица, тротуары, сумки, столбы, солнце, май, Ар­бат, любовь, и все нажитое и прожитое ехало к точке расплаты. На мгновение детали гигантского пазла ра­зошлись, обнажив столь же проверенные, сколь и на­думанные механизмы слаженности: вот шина рассекла лужу на две грязные волны, там вдали льнули друг к другу стебли еще не надорванных гвоздик у похорон­ных торговых, капля распрощалась с облаком, а я в это мгновение перебежал улицу по лимонно-белой зебре — она была какой-то чрезмерно яркой, словно предпола­галось, что люди, шатающиеся вокруг кладбища, отлича­ются повышенной рассеянностью. Я встал у сувенирной

лавки, поближе к сувенирам от Высоцкого, и вскинул руку. Приятный, уверенный, осмысленный, как пощечина в атмосферу, жест — ловить машину определенно удобнее, чем, к примеру, подзывать официанта: рука работает и живет полной жизнью, в то время как в ресторане она напоминает о капитуляции на таможенном рентгене.

Мы сразу же рванули с места, не сговорившись о цене, в ржавых жигулях с окнами нарапашку. Маленький южный рулевой все молчал, все понимал и всему кивал, и вдруг, словно извиняясь за собственное неучастие, ткнул пальцем в еле живой кассетник, как будто больно подстегнул умирающую лошадь.

Оттуда раздался дикий крик, действительно как от боли, — с середины грянула осинская «Плачет деvушка в автомате». Никогда в жизни, ни до ни после, мне не приходилось слушать музыку на такой громкости.

Казалось, наш кляча-катафалк понесся вперед исключительно на звуковой волне — на пути не оказалось ни одной иномарки, которую бы мы с какой-то выюрковой грацией не обогнали, и оставшиеся позади оборачивались не на нас, они пилились на песню, как будто громкость перешла в видимость, чему порукой были наши распахнутые окна, роднившие нас с сорвавшимся с цепи кабриолетом. Ничего, кроме громкости, не осталось. Я вдруг вспомнил своего мертвого приятеля, который играл с Осиным еще в восьмидесятые годы в глупой группе «Дед Мороз», а вслед за ним вспомнился раскорячившийся в твисте Ельцин, тоже уже отчаливший,

да и самому Осину, судя по тогдашним сплетням о нем, оставалось недолго. Он сменил девочку из оригинального текста на девушку, как будто понимал, что дети не для могил и не для подобных песен, и голосил теперь с каким-то остекленевшим надрывом. В окно полетели тяжелые и надменные, как ягодные плевки, капли дождя, из сумки шел слабый запах земли, мы будто катились по черной трассе напрямик в ад. Так в итоге, с некоторыми оговорками, и оказалось.

Обычно я выходил на углу Часовой и Черняховского и шел наискосок через дворы и детскую площадку, но теперь то ли из-за дождя, то ли из-за песни мы поехали до самого дома, по Большому Коптевскому, пока не уткнулись в заграждение. «Ага, и вот здесь я выскочу» — этим традиционным оборотом я обозначил завершение поездки. Всегда по приезде говорю таксистам одно и то же. Я ненавижу этот лебезящий отклик, но избавиться от него не получалось.

Рядом с моей девятиэтажкой располагались сразу три местных достопримечательности: заброшенная голубятня (кстати, именно с такого рода постройки начинался тот злосчастный клип Осина) с давно улетучившимися птицами, неопознанный индустриальный цех, порой оживающий по ночам с неясными производительными целями, и полуиспарившийся, но пригодный для рассветных распитий пруд. Пейзажу не доставало еще только мельницы (а заодно уж и мельничихи).

Формально это был вполне положительный район, Аэропорт как-никак. Но сам я жил на отшибе, как

деревенский колдун. Через дорогу начиналась собственная жизнь: дорогие писательские дома с мемориальными табличками (живое кладбище), торговые центры, редакция «Искусство кино», рынок, площадь для незаконных сделок и стрелок, шоссе напрямик в Шереметьево, памятники, паб «Черчилль» и этнографическое заведение «Тарас Бульба», где обносили рюмкой прямо на входе со звенящим колокольчиком.

На моей стороне раскинулся рай для уездных социопатов с его соцветием чахлах пятиэтажек и оседлой железной дорогой.

Во всем чувствовался негласный запрет на скоропостижность — может быть чуть лучше, может стать сильно хуже, но просто так это все не закончится. Поэтому здесь даже безделье принимало совершенно иную, почти нравственную природу. Мир как будто зазевался, и любая мелодия сразу перетекала в ямайский реверберированный микс, ты слишком долго слышал длинное эхо собственных поступков и ощущений — вот и теперь, стоит прижать треугольную печатку-проходку к кодовому замку, дверь, ойкнув, оживает, но очень не сразу. Здоровенная большеголовая консьержка потребовала майской оплаты своих вахтерских услуг. Платить мне приходилось в основном за то, что она периодически вызывала ко мне же ментов, мотивируя это соответствующими жалобами соседей то на музыку, то на сам факт чужой жизни. Много раз я вынашивал план восстания — по типу «и вот здесь я выскочу», — но всякий раз откладывал до следующего раза. Вот и теперь

я выплатил побор и, широко, как подросток, перешагивая через две-три ступени, поднялся к себе на этаж. На лестничной клетке я выкинул лопату в мусоропровод — она тоже летела слишком долго, прежде чем раздался обиженный грохот.

За это время я успел проникнуть в квартиру и заняться косметической реставрацией: обмотал крышку урны в дюжину слоев невесть откуда взявшегося скотча — накручивал клейкий клубок до тех пор, пока наконец не убедился, что без ножа ее ни за что не открыть. Пакет с остатками земли я выкинул на балкон.

Приготовления стали напоминать кино про голову Альфредо Гарсиа. Там есть эпизод, когда Уоррен Оутс в адскую жару притаскивает домой эту самую голову в пакете и кладет ее в рукомойник со льдом. Я тоже поставил свой груз в холодильник, но на этом, впрочем, схожесть с Оутсом закончилась — взамен я вытащил две ополовиненные бутылки: «Флагман» и «Бифитер».

Потом я включил тоже сразу две музыки, одну с компакта, на кухне, а вторую — на кассете, в комнате. От этих наложений квартира становилась как будто многозальнее, кроме того, так быстрее получалось заглушить плачущую в голове девочку из автомата.

Я соорудил еще один микс по самоличному рецепту — полстакана джина на полстакана водки.

Водка была с дозатором и поддавалась неохотно, но я все же прокапал себе сразу два коктейля. Джин полировал сивушные рельефы, а водка гасила духовитую можжевелевую парфюмерию — в результате возникал

вкус чистого отсутствия, сродни удаляющейся подруге с прямой спиной.

Один стакан оставил на кухне, другой взял с собой в комнату. Так и ходил туда-сюда, прихлебывая и прислушиваясь — между шероховатым техно Rhythm & Noise и переливчатой экстравагантцей Pop Concerto Orchestra, — пока не врезался в покосившийся кухонный шкаф. Дождь себя исчерпал, через приоткрытую дверь балкона комната жадно и прерывисто поглощала уличную свежесть.

После столкновения со шкафом я перебрался на матрас в углу комнаты и принялся строить письменный план. Поскольку распорядок завтрашнего дня состоял из единственного пункта, а мне хотелось именно прописать его, то я подолгу обводил готовые буквы и цифры, пока те не превратились в бессмысленно-червивые арабески.

Я допил второй стакан и пошел на кухню за третьим, заодно и выключил везде музыку. В голове воцарилась старая добрая дисгармония с ее реактивным девизом «как угодно». С улицы неслышно, как из-под кровати, доносился редющий гомон соседей. Весь видимый внешний мир по-тихому тух и гас. Я понемногу начал нравиться себе и не заметил, как уснул.

Глава вторая

Проснулся я от того, что по комнате прохаживалась крупная белая собака. Точнее, меня разбудил звук ее когтей, разъезжавшихся по паркету, как щеточки неактуального джазмена. Собаки у меня вообще-то не было.

Меж тем она медленно, как страус у Бунюэля, подошла к телевизору и уже было принялась к видеокассетам, как я тихо закричал из своего угла. Орден мужества нам обоим определенно не грозил — собака в ужасе вылетела в коридор, а я на кухню, благо больше некуда. Дверь оказалась нараспашку, очевидно, вчера я забыл ее закрыть, когда выбрасывал лопатку «Туристическая».

Сквозняк с какой-то стати пропах имбирем и лавром, пришлось пресечь незваную симфонию запахов двумя тугими щелчками замка.

Холодильник раскрылся с куда более звучным, почти гитарным скрипом — в тон упорхнувшему собачьему джазу. В дешевых квартирах всегда много лишних

звуков — не комнаты, а наушники. Амфора в моем миниморге выглядела как последняя матрешка, лишившаяся всех покровов, безжизненная бессмертная кукла. Вместо спасительного пива в отсеке находились горошек, масло и жухлый нектарин.

Я снимал квартиру что-то около семи лет. За это время она успела превратиться в гибрид склепа и сквота — фамильная строгость запустения при общей размотанности быта.

Пятна комариной крови на потолке были моими фресками, поскольку и кровь была как-никак моя — они ее пили, а я потом их на этом потолке убивал, кидаясь книгами.

Планки рассохшегося паркета вылетали из-под ног, как домино. Стиральной машины не водилось, как, впрочем, и посудомоечной, как, впрочем, и собственно автомобильной машины, — поэтому я стирал, точнее мыл, одежду в ванне. Окна зимой облепляло такой стужей, что я спал в одежде, а иной раз и в обуви, как на гауптвахте.

Как выражался Оруэлл, жилось не гигиенично, но уютно.

Заводить домработницу представлялось мне занятием унижающим и унижительным одновременно. Возможно, я был стихийным социалистом, точнее малограмотным пионером.

В конце концов, если жизнь не пошла дальше какстинга, то и интерьеры должны оставаться в статусе реквизиита.

Мои родители умерли, детей не было, сам я к 33 годам повзрослел ровно настолько, чтобы подчеркивать в книжках понравившиеся строчки не карандашом, как в детстве, а уже чернилами. На этом, пожалуй, все — прочий возрастной баланс застыл на отметке «и да, и нет». Я в основном специализировался на одолжениях самому себе — так что жаловаться было грех, а хвастаться нечем. Много проблем, однако никаких забот.

За окнами тоже царила блаженная беспозвоночность — то были, как говорил д'Артаньян, времена меньшей свободы, но большей независимости. Сам год был объявлен в России годом снегиря.

Последняя подруга — та, что с прямой спиной — ушла от меня две недели как.

Я не слишком ее задерживал, поскольку все еще питал слабость к предыдущей, тоже ушедшей, но с куда большими возражениями с моей стороны. Основательную страсть за одну смену не вылечить, это работает минимум через одну.

Я служил тогда в разных газетах и журналах культурным рецензентом и, если шире, литературным работником.

С последней службы меня не то чтобы прямо выгнали, однако ж и не слишком задерживали. Во всяком случае, на классический светский вопрос для неудачников «ты сейчас где?» мне было нечего ответить. В те весенние дни меня держала на плаву именная колонка в одном крипто-патриотическом альманахе, позволявшем себе разные неосознанные формы вольности.

Я стоял на кухне, выбирая пластинку, так и не решил какую, в итоге ограничился тем, что провел пальцами по ребрам дисков — нравилось это кирпичное молчание музыки, под такую архитектуру можно было и станцевать. У винила подобных строительных свойств не обнаруживалось, он скорее отдавал чем-то фарцовым, вроде икон, я предпочитал карманные зеркальца компактов.

Итак, что взято с собой — школьная тетрадь в клетку, тяжеловатый, старого образца белый макбук (очень девичий гаджет, для тогдашних девушек они были сродни муфтам, собственно, он и остался у меня от подруги на неопределенный срок, и я решил, что он переживет выезд на природу), пара маек, старый серый свитер с плотовскими дырками для больших пальцев, склянка духов. Урну я закутал в свитер и аккуратно, как ископаемую бомбу, уложил в сумку.

На улице оказалось так свежо и цветуще после вчерашнего ливня, что я едва не передумал — зачем куда-то ехать, когда есть просторный туннель Часовой улицы с его алгоритмом по решению самых насущных задач, ведущий напрямик в сферы внутреннего согласия. Одной из таких сфер была квартира в соседнем доме, где проживал Дуда — последний мистик-краснобай черной московской богемы, на закате лет занимавшийся исключительно возлияниями и воздыханиями. Однако визит к нему имел все шансы затянуться на сутки, а сегодня делать этого было нельзя.

Теперь была не осень, но я хорошо знал, что специальными осенними сухопутными днями здесь сам собой

образовывался вылитый и записной Бруклин, и светофоры на маленьких перекрестках сияли через желто-красную листву.

Вот и сейчас все завертелось как за океаном — и люди как листья, и уверенный пульс центральной окраины, и складное умение отшутиться, и праздношатание вместо свободы, и тот непреложный факт, что Бруклин для нас, тогдашних молодых и местных, стал моральным символом, вроде Бобруйска для детей лейтенанта Шмидта или Бродвея для поколения стиляг. Тот Бруклин был еще совсем ранний, безбородый, без засилья крафтовых моделей пива и велодорожек, которые позже сформируют в наших краях подобие молодежного Брайтон-Бича.

Без приключений миновав дом Дуды, я следовал по адресу — напрямиком к магазину под названием «Элитный алкоголь — 24 часа в сутки».

В магазине уже неделю как служила новенькая молодая продавщица.

У нее были накладные гарпиеобразные ногти изумрудной расцветки и татуировка на итальянском языке, уходящая вглубь по стройной руке, как наваха под мышку. Я всю неделю хотел спросить, что это значит.

— Как что? — удивилась торговка. — Любовь побеждает смерть.

У нее было открытое круглое лицо. Она выдала мне пять бутылок «Леффе» и две обжигающе ледяные банки «Саппоро». Мне нравилось слово «Саппоро», потому что о нем пела Йоко Оно, а песни Йоко Оно мне нравились больше, чем песни ее мужа, по крайней мере в тот год.

Островные жестянки стоили примерно как компакт-диски японского же производства.

Не в моем нынешнем положении было их приобретать, однако меня слишком радовали странная желтая звезда на банке, и бонусный объем в 650 мл, и сама форма кубка — не слишком ли часто стали даваться в руки ритуальные предметы?

Первого цеппелина я вскрыл прямо у дверей — с сухим морозным звуком, напоминавшим выброшенный в корзину файл. «Саппоро» — неплохое, хотя и слегка маньеристское пиво, но по ритму сегодняшнего утра в самый раз. Ну а «Леффе» есть «Леффе» — маститый бух, в котором проживала иная, как сказал бы Гете, повторная возмужалость. Но перед ним не помешало бы поесть.

С легкой руки того же Дуды я знал одно место через дорогу, в преддверии Ленинградского рынка, куда вела секретная дверь в неприметной стене.

За дверью подавали престранный плов на бакинский, что ли, манер — отдельно приносили рис, отдельно мясо с морковью, отдельно специи, отчего и сам ты чувствовал себя очень на отдалении. В рамках повторной возмужалости я наелся их конструкторского плова, оставив взамен на столе две пустые бутылки, одной из которых придавил купюру — дверь то и дело распахивалась, и в комнату врвался веселый ветер.

Дальнейший путь лежал через крытый рынок. Мне, уже заглотившему наживку алкоголя, захотелось посмотреть на раскисающие соленья, свиные бюсты и барханы

куркумы. «Нас осыпает золото улыбок у станции метро “Аэропорт”», — заметила когда-то Ахмадулина. Едва ли она имела в виду такое, но я приписывал эти образы золотозубым рыночным торговцам и их радостным закупочным кличам.

Я двигался к метро по столбовой улице Черняховского в сторону памятника Тельману, мимо дежурного торгового центра, мимо еще одного высыхающего пруда, где зимой перетапывались стайки залетных уток, мимо аптеки, где на витрине был вывешен голый девичий торс с упругим статным задом — засветная реклама какого-то молодильного крема.

Метро прошло без приключений, и только на кольцевом переходе «Курской» я встретил слепую девушку. Она стояла в зловонном мочегонном углу с протянутой рукой. Ее веки были как будто склеены и запечатаны. Слепая держалась как изваяние святой в церковной нише, чуть покачиваясь, и еле слышно пела о красивой трудяжке, которую по причине бедности никто не берет замуж. Песня была мне хорошо знакома. Я самостоятельно записал ее с голоса одной деревенской старухи летом 92 года в фольклорной экспедиции в костромских лесах — эта девушка выпевала другие слова, но песня была точно та самая.

Я протянул незрячей сто рублей, которые она никогда не увидит, и побежал на вокзал.

Курская электричка подкатилась бесшумно и наполнилась людьми так, словно на ускоренной съемке показывали расфуфыривание цветка или гниение лебедя.

Я зашел в вагон позже всех, потыкав носком в облупившийся асфальтовый край платформы — у них всегда такие облезлые края.

У электрички свой грязный запах, он выносим как собственный, и его ни с чем не спутаешь. Например, плацкартное зловоние поездов дальнего следования отличается в худшую сторону. Электричка же — мимолетная домашняя история, не зря ее называли собачкой, на ней далеко не убежишь. Поезд пахнет людьми, а электричка — собой, это нельзя было ни выветрить, ни прокурить. Но я бы, пожалуй, сделал мужской парфюм с запахом тамбура советской электрички — мне нравились тамбуры с детства, с их помойной конфиденциальностью, что-то чужое и волнующее было в них, нечто такое, что никогда не станет твоим и понятным — я, собственно говоря, так и не закурил.

Кроме того, электричка казалась живой игрушкой — выныривала из подмосковного леса как китайский дракон, причем у тех, что поновее, было совсем злое красное лицо.

Девица напротив везла в сумке большого породистого (собственно, это его толщина мне казалась породой) кота — зверь высовывался из сумки молча и недоуменно. Сосед справа нацепил наушники, оттуда донеслись отголоски русского рэпа, скучного как устный счет. За окном тоже царил какой-то безраздельный офсетный хип-хоп; жизнь, данная нам исключительно в перечислительных интонациях, средоточие жлобства и жалоб, бубнеж, зафиксированный опытом: домики-кубики,

подсобки, странные курганы из досок и щебня, отчего-то затянутые оградительной красно-белой лентой.

Электричка катилась плавно и сладко, будто под откос, а я со своим распахнувшимся пивом еще уселся против движения, так что мне, как ветхозаветному Элизеру, земля скакала навстречу.

Она была по-своему прекрасна, эта электричка. Люди входили обреченными, но уже через станцию-другую становились блаженными — не они ехали, а их куда-то везли, именно везли, не подвозили, и не сойти уже абы где, на дальней станции. Вид у всех был такой, словно в свое время их забыли спросить о чем-то важном и теперь они ждут, что, может быть, на них снова обратят внимание. Все словно мчались на конгресс по вопросам помилования. Через несколько минут по вагону пошли одни за другим торговцы подручной и поразительно разнообразной ерундой — тамбовские пятновыводители за сто рублей, приспособления для удаления сердцевин болгарского перца («А если лечо? Если лечо?» — провозицировал публику продавец), губки для стирания маркеров, мизинчиковые батарейки, мочалки, пемза, клей.

При подъезде к Реутову в окне мелькнула неплохая торговая вывеска «Все для сна». Там же на заборе было намалевано присловие «шлюхе — шлюшь».

Пока я любовался граффити, электричку тряхнуло, и я пролил на себя японскую банку «Саппоро». Ничего отвратительнее пролитого на руки пива не бывает. Это как порезаться листом бумаги формата А4 — цепкая бесцельная боль.

Я пошел в туалет смыть сусло с рук, но он, как выяснилось, начинал работать только по достижении составом отметки «Фрязево». До нее оставалось еще сколько-то станций. Пока я вдыхал любимый тамбурный аромат, из соседнего вагона, лязгая дверью, привалили долгорукие бесперспективные подростки.

Один из них сунул ногу в дверь и поехал дальше с защемленной лодыжкой — похоже, ему становилось все лучше, в этом было что-то почти эротическое, вроде аутоасфиксии.

Я отвернулся, задумавшись о своем дошкольном возрасте, когда разнообразный трейнспоттинг отнимал у реальности массу пустого времени и наполнял его передвижным смыслом. Летом снималась дача, там шум и запах окрестных электричек казался таким же полноценным природным явлением, как гроза или муравейник, а железнодорожная промышленность была одной из форм небесного промысла. Во внедачные же времена в квартире можно было прямо с утра разложить слегка обжигающий током рельсовый хворост — это напоминало своеобразное заклинание пространства. Дорога была совсем как настоящая, точнее сказать — она была подлинной. В самом деле, составы на нашем Казанском направлении выглядели какими-то неотесанными бревнами по сравнению с моими желтыми цистернами, хрупкими платформами, болотного цвета вагонами-ресторанами и тяжелым ультрамариновым электропоездом. Тогда я, видимо, впервые и поверил в то, что правильно выстроенная модель реальности